

А. Соболь

Рассказ о голубом покое

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82-3
ББК 84
А11

A11 **А. Соболь**
Рассказ о голубом покое / А. Соболь – М.: Книга по Требованию, 2021. –
38 с.

ISBN 978-5-4241-2980-3

Андрей Соболь (Юлий Михайлович Соболь, 1888-1926) - автор известных в начале XX века рассказов и повестей. Стиль Андрея Соболя сочетает в себе изящный импрессионизм и глубокое знание человеческой натуры. Богатый и сложный внутренний мир своих героев автор показывает подробно и красочно.

ISBN 978-5-4241-2980-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А. Соболь, 2021

Андрей Соболь

Рассказ о голубом покое

в девяти неправдоподобных главах

Глава первая.

Глухое брожение

О том, что было до сирокко, до того, как сорвался он с гор, — рассказывать нечего.

Всё начинается с сирокко, всё начинается с той минуты, как потемнел Везувий — нахлобучил он по уши мохнатую шапку сизо-облачную, в последний раз дохнул дымной струей, точно закурил напоследок; одна-две затяжки — и нет Везувия. А Капри давно уже потонул в бледно-синем тумане.

И пошёл гулять сирокко вдоль морского берега.

В Позитано он сковырнул две-три крыши, и кувырком понеслись к морю плиты да плиточки, в Амальфи затанцевали-запрыгали оловянные рыбы в руках святого Андрея — бедный рыболов еле удерживал их, как его собрат, святой Антоний, на площади в Сорренто с трудом тяжким и терпением, воистину святым, защищал спиной своей кронштейны электрических проводов.

Едва-едва не слетел венчик с бронзовых кудрей святого покровителя Сорренто, но зато кронштейны, ввинченные в спину святого, уцелели, и потому не погасли бесчисленные лампочки в соррентских отелях и не остались короткобрючные иностранцы и иностранки в клетчатых юбках без света. И потому по вечерам могли шуршать в салонах всех рангов английские иллюстрированные журналы, американские спортивные листки и немецкие еженедельники, и потому могли все мисс, все фрекен и все фрейлейн продолжать свои вязания, вышивки.

Всё начинается с сирокко.

По утрам он вёл себя ещё довольно сносно, — только слегка резвился, как молодой ослик без поклажи; по утрам он лишь слегка щекотал берлинские, нью-йоркские, стокгольмские и прочие нервы, до первого завтрака пока что только намекал.

Но к четырём часам ослик с катастрофической быстротой немедленно превращался в разъярённого буйвола, к чёрту, к дьяволу летели такие никчёмные, ненужные и смехотворные вещи, как узда, вожжи, — и тысячи, миллионы, миллиарды ослиных криков потрясали небеса. А знаете ли вы, как кричит один только неаполитанский осёл?

Крики сплетались, свивались и жгутом, толстым и крепким, били наотмашь по бедным человеческим головам. Человек извивался, человек захлебывался, как идущий ко дну неудачный пловец, человек в бешенстве наглухо запирал окна, ставни, двери, законопачивал себя подушками, одеялами, но сирокко походя сводил всё наスマрку, и все преграды и все препоны обращал в ничто — в пустяк, в ерунду — и давил сверху, и надавливал с боков, и выползал из-под ног.

А с пансионом «Конкордия», стоявшим на отлёте, на горке, по пути из Амальфи в Сорренто, сирокко поступил ещё проще: медным котлом прикрыл весь дом, всю голубую «Конкордию» со всеми её пристройками, вышками, надстройками и мезонинами, прикрыл плотно, без единой щелочки, от флагштока до последней куртины и по медному котлу забарабанил молотками, — тыся-

черукий заклёнщик.

Вторую неделю выл сирокко — неутолённо, неудержимо беспощадно.

Всё начинается с сирокко.

И первой запротестовала гордость пансиона и сладостное утешение хозяина сеньора Розетти румынская княгиня м-те Стхениз-Мавропомеску, чью фамилию итальянским губам никак не произнести, но от каковой на таких же губах круглоголового, круглолицего и круглоногого Пипо Розетти играет и радуется постоянная сахарная улыбка. О, нет, не приторная, не нарочитая сладость, а искренняя, от души идущая, от самого нутра (тем паче, что княгиня медлительна в темпах уплаты за пансион), выступающая из всех пор, как выступает пот после восхождения на манящую вершину.

И вершина пансиона, — предел пансиона, завершение пансиона, — довольно короткими, но выхоленными пальцами зажала уши и простонала:

— Я больше не могу!

Впервые за все месяцы княгиня отказалась от сладкого, несчастный фоксик «Mon coeur» получил пять полновесных шлепков, сдобные княжеские ручки в разноцветных многогранных кольцах чувствительно отразились на бедной фоксиной шкурке.

Микеле, восемнадцатилетний курчавый синеглазый пройдоха, весельчак, тончайший мастер по части разбавления вина водой, упорно, как стебель к солнцу из расщелины стены, вылезающий из своей тугой белой курточки, в которой тесно ему и тошно, замер перед княгиней с отвергнутым блюдом взбитых сливок, а потом опрометью кинулся в коридорчик, на ходу срывая нитяные перчатки, сунул лохматую голову в четырёхугольный разрез деревянного престенка между коридорчиком и кухней и прохрипел умирающим голосом:

— Принчипесса отказалась от сладкого.

Точно вышвырнутый подземным толчком, выскочил из кухонного кратера Пипо Розетти, и помчался он по лестнице за княгиней, — лаял фоксик, тут же на глазах княгини таял от горя Пипо, потрясал барометром, уверял всеми святыми, что завтра сирокко перестанет, умолял не убивать его, взять хотя бы одну ложечку сливок; и в сочувствии и в траурном экстазе поникли головами все пипины домочадцы: младшие в старшие помощники, водогреи, блюдомои, уборщицы.

А вслед за княгиней отказались от сладкого и мадам Бадан, и фрау Алиса Пресслер, и супруги Рисслер, причём сам Рисслер, вставая, резко отодвинул столик, опрокинул графин с водой. И тогда только впервые заметила фрау Герта Рисслер, что у мужа плоские зубы, и что умеют они препротивно скрипеть; и точно в предчувствии будущей какой-то огромной и неотвратимой беды втянула маленькая фрау Герта маленькую голову в худенькие плечи, и робко засеменила она за мужем, — маленькая Герта, Frau Blumenkohl, как прозвали её некогда соседки по *Cantstrasse*. И мелкокудрявая головка, светленькая — завитки цветной капусты, — бледно обрисовавшись под матовыми колпаками люстры, понуро исчезла в провале двери.

И пренебрёг сладким незыблемо-спокойный, как сама швейцарская конституция, цюрихский депутат Конрад Арндт, чьи золотые очки в обрамлении жёлтых бакенбард молчаливо и достойно свидетельствовали об устойчивости валюты и об успешности производства сыров. И почти немедленно за этим фрау Арндт потребовала у мужа, чтобы он сейчас же увёз её домой в Цюрих, где кофе —

кофе, а не какая-то тёмная подозрительная бурда, и где нет ветров и этих противных, тоже тёмных и подозрительных княгинь, перед которыми на задних лапках ходят все мужчины. Да, да, все, даже цюрихские почтенные члены Бундесрата, демократической фракции, которым, казалось бы, — да, да! — не подобало приходить в умиление от княжеского герба.

И очередной, всегда безмятежный вечерний бридж двух американских пар, протекающий ровно, как послеобеденный синый сон, кончился бурно: мистер Ортон сделал замечание мистрис Тоблинг о несуразном поведении её королей, и мистер Тоблинг сказал мистеру Ортону, что в штате Кентукки мужчины, по-видимому, разучились быть вежливыми с дамами, в ответ на что мистер Ортон изволил заметить о всем известной грубости и невоспитанности жителей небезызвестного города Чикаго.

И веером разлетелись карты, и застучал чикагский довольно впечатительный кулак по столу — неслыханная вещь, потрясающее событие в салоне пансиона «Конкордия», — и неподалёку сидевшая над своим рукоделием фрау доктор Алиса Пресслер вскрикнула: «Ax» — и в ужасе прикрыла глаза бисерным недоконченным изречением «Morgenstunde hat Gold im»...

И фрейлейн Бетти Килленберг в возмущении захлопнула томик рассказов барона Омптеда, и вслед за ней фрейлейн Альма Брунн нервно свернула трубочкой «Die Woche». И обе тотчас же поднялись со своих мест, и обе прямые, как жезл немецкого шуцмана, и рослые, как деревья с Unter den Linden, молча, но категорически протестуя всем: спинами без малейшего извива, плечами, приподнятыми в уровень подбородка, — медленно поплыли к выходу, словно сошли со своих цоколей те мертвко-каменные королевы с Sieges-Allee, что на рассвете жутко вычерчиваются из белёсого берлинского тумана.

И даже в шведском уголке, в тесном дружеском уголке северян, в этот вечер сдвинулись кое-какие точки с насиженных мест: Эйнар Нильсен сухо отверг сигару своего друга по путешествию и компаньона по торговой фирме Кнута Сильвана, а Сельма Екбом шепнула своему мужу, что раздражает её напускная восторженность Сильвана, и что не к лицу торговцу вязаными кальсонами писать поэмы о прелестях Неаполитанского залива и о любви под итальянским солнцем.

И хроменький Екбом, ботаник, под тремя фуфайками прячущий одно (и то уже продырявленное) лёгкое и сердце, влюблённое во всё живое, от пестика горицвета до туфельки Сельмы Екбом, человечек с головкой, похожей на опрокинутую морковь, но где о морковном хвостике, а, быть может, даже о крысином хвостике, тотчас же заставляли забывать чудесные голубые глаза, слегка будто напуганные, слегка навыкате, но лучистые, незабываемые, — и хроменький Екбом послушно встал, покорно не дослушал поэму Сильвана, вполголоса читаемую, и, как наказанный ребёнок, волочащий за собой на верёвочке трупик сломанной куклы, потащил вывернутую ножку за туфельками Сельмы Екбом.

И крикнул тогда Кнут Сильван Микеле, чтобы сию минуту подали ему бутылку вермута, и в пространство, так, будто задумчиво про себя, сказал Эйнар Нильсен о своей любви к деятелям науки, в частности к ботаникам, и о своей готовности размозжить голову любому шалопаю в случае малейшего посягательства на покой и семейное благополучие маленького, хромого, но великого и святого человека.

И тоже, как бы в пространство, захотел Кнут Сильван двумя-тремя ниспа-

дающими каскадами, но тотчас умолк и перенёс свой вермут на другой столик.

И до глубокой ночи раздавались звонки из комнат, и, ошалев, бегала из одного номера в другой Мадлен, — чёрная, толстогубая, увшанная амулетами и дешёвыми кораллами, приплюснутая — негритёнок в юбке — то с чёрным кофе, то с сифонами сельтерской, то с кувшином горячей воды. И напоследок залился неудержимо звонок из седьмого номера: американкам, сёстрам-близнецам, в срочном порядке требовался врач, — одна стриженая головка, утопая в розовых кружевах и оборках, жалобно никла к подушке, другая головка, тоже стриженая и тоже тёмно-каштановая, мелькая в голубых уже лентах и кружевах, сострадательно и бесполково металась по комнате. И обе головки стонали.

На велосипеде мчался Микеле в Сорренто за доктором, и пронзительно свистел кудрявый пройдоха, предвкушая утреннюю долларную награду и ни с чем не сравнимое удовольствие поднять с постели бронзовым молотком, ночным, внезапным, бурным, фрау жирного сеньора *dottore*.

До зари горел свет в первом этаже в комнате советника и многообещающего адвоката Оскара Таубе, и утро застало Берту Таубе в плетёном соломенном кресле.

И утром фрау Берта Таубе неверными шагами подошла к окну, распахнула его и замерла у подоконника, уронив головные шпильки, косы и две скучные, но огненные слезинки: внизу, прислонившись к железной решётке сада, опять на том же месте, как вчера, как все последние дни, снова на своём посту, точно забытый, но верный присяге часовой, стоял датский художник Лауридс Рист, рыжебородый великан, курил трубку и не спускал глаз с окна, для видимости, на случай появления господина советника, надвинув низко густой мох бровей. Но господин адвокат и советник мирно спал и в меру тонко и деликатно похрапывал.

Глава вторая.

Нужны меры, какие бы то ни было

После бурной ночи, после докторских визитов, звонков, ночной беготни Мадлены, порошков пирамидона, а кое-где и хлоралгидрата, солнечное утро, усиленно выкарабкиваясь из облачных сетей, обрывая серые грузила и по горам разбрасывая отдельные сизые поплавки, пообещало тишину и долгожданное благостное безветрие.

Юркие, быстрые, многочисленные и безыменные пипины мальчишки мигом разложили на террасе шезлонги, расставили рабочие — для рукоделия и писания приветов на *carte-postale* — столики, заулыбался сам Пипо, уже на сегодняшний день спокойный за княгиню. Маленькая Герта Рисслер первой вышла на террасу, глубоко ушла в свой шезлонг и, подставляя солнцу утомленное лицо, устало закрыла глаза: забыть, забыть хотя бы на несколько теплых мгновений, как требователен был этой ночью Рисслер, как сжимались и лязгали плоские зубы в законной судороге законного мужа.

Заковылял по террасе Екбом, но вскоре исчез: что-то долго не показывались обожаемые туфельки; как всегда, вдвоём, рука об руку, тесно и плотно, до бриллиантовой свадьбы, до гробовой доски, появились супруги Арндт. И золотые очки и колыхающаяся высокая грудь цюрихской ценительницы настоящего кофе обменялись между собой несколькими восторженно-восхитительными фразами об изумительной погоде, и между очками и высокой грудью не реяла уже подо-

зрительная тень подозрительной княгини, и на двух холмах, прикрытых шёлковыми складками блузки, воцарились спокойствие и безбурность.

Выскочил из подъезда фоксик «Mon coeur», завиляя бесхвостым задом, зазвенели вблизи дутые браслеты румынской княгини.

— «Всё в порядке», — удовлетворённо отметил себе в бороду Лауридс Ристи, весело насвистывая, повёл свою обычную возню с мольбертом — ловкую установку так, чтоб с краю, слева, был виден шезлонг Берты Таубе, невидимо для других, но чётко для него, — весь шезлонг, это безобразная в сущности мебельная разновидность, уродующая любую женскую фигуру, но только не её, это премилое, собственно говоря, сооружение и остроумное, словно нарочито созданное для того, чтобы могли жадные глаза жадно охватывать каждую линию любимого тела, каждую черту и каждый поворот любимой головы, этой изумительной головы небожительницы, каким-то чудом явившейся сюда из протестантско-сонной заводи пресного, будь он проклят, Марбурга.

Но фрау Берта не шла, но не прошло и четверти часа, как сирокко смёл все шезлонги и все людские чаяния; розовый миндаль, сбоку от входной двери, затрепетал, переламываясь во всех суставах, беспощадно пригибаемый к земле, — розовые надежды Лауридса Риста унеслись сухими поблёкшими листьями и угремо и сухо прошелестили по мраморным плитам террасы.

К завтраку табльот на три четверти пустовал. Тугие салфетки тщетно взывали раскрытыми накрахмаленными раструбами, мёртвый блеск пустых тарелок твердил о никчёмности жизни, Микеле лунатиком бродил между сиротливыми столиками, фрейлейн Альма Брунн и фрейлейн Бетти Килленберг на сей раз вторично не подзывали Микеле и не брали вторичных порций — эти высеченные, ненасытные Валькирии по части макарон, ризотто и pane dolce. И madame Бадан исподтишка не лорнировала Лауридса Риста, этого северного, по правде говоря, невежливого, нечуткого, но эффектного варвара, чьи размеры так волнующе-приятны одинокому женскому взору после щупленьского, оставленного на время в Париже, Аристида Бадана.

Столик супругов Таубе мрачно зиял пустотой, не трепетали на белоснежной скатерти и не жили своей — особенной, молчаливой, но многоговорящей — жизнью длинные, в концах суженные пальцы фрау Берты, эти пальцы амазонки и одновременно запуганной белокурой девочки-женщины, — мрачно докуривал Лауридс Рист вторую трубку, синеватый дымок расчёсывал огненно-рыжие пряди бороды и сплетался с коротким ворчанием из-под насупленных усов: «О, чёрт! О, дьявол!».

Под напором ветра урчали двери, хроменъкий Екбом в глухом одиночестве скатывал хлебные шарики, и лучистые глаза, грустные, как лунное отражение в заброшенном водоёме, бродили по тарелке с макаронами и сквозь сплетенье длинных мучных червяков, извивающихся, точно в крови, в помидорном соусе, видели комнату № 8 и туфельки Сельмы Екбом — туфельки, что выступивали полчаса тому назад в непонятном лучистым глазам исступлении: «Иди, иди, оставь меня одну, не хочу я есть, не хочу я жить, ничего не хочу...»

А в четвёртом часу по «Конкордии», по лестницам её, по мезонинчикам, по коридорам разнеслась зловещая весть, что княгиня Стхениз-Мавропомеску складывает вещи, и что американки — сёстры-близнецы, Сильвия и Лора Гревсик, потребовали счёт.

Пипо Розетти пушинкой влетел на второй этаж и пять минут спустя грузным мешком скатился вниз: красные уши Пипо торчали как кончики мешка, перекрученные шпагатом,

И тут Лаурис Рист, опустошивший за сегодняшний день весь свой запас кепстона, остановил Пипо в его центростремительном порыве к кухне — к центру, к сочувствующим домочадцам — и ручищей, внушительной, как лопата землекопа, огrel Пипо по плечу:

— Стоп, *padre* Пипо. Сколько лет вы меня знаете?

Под шпагатом, неукоснительным, затяжным, Пипо мог только прохрипеть:

— Пятнадцать.

— За эти пятнадцать лет хоть раз я подвёл вас?

Мешок сплюснулся и выжал из себя:

— Нет. Никогда.

— *Padre*, нужны меры. *Padre*, слушайте меня: нужны меры во что бы то ни стало. Нужны меры какие бы то ни было. Вы хотите, чтоб ваша прекрасная, ваша голубая, ваша изумительная «Конкордия» стала необитаемой, как Помпея под лавой? Хотите, чтоб по всей Англии, Америке, Германии, по всему миру разнёсся слух, что Пипо Розетти гнусный обманщик, что Пипо Розетти не умеет, не может угодить форестьерам, что Пипо Розетти наплевать на всех иностранцев, что у Пипо Розетти кругленькая сумма в *Banco Roma*, а потому ему...

— Нет! — со свистом, с клёкотом, с возмущением, с негодованием вырвалось из мешка.

И крепкая рука Лауриса Риста втащила остатки Пипо в его комнату, увшанную многочисленными Папами, принцессами царствующего дома, объявлениями Ллойд-Триестино, и коротко и ясно изложил Лаурис Рист задыхающемуся Пипо свои проекты.

С молчаливого благословения всех пап за последние 250 лет, под винтами трёхтрубных пароходов Ллойда в десять минут совместными усилиями была полностью разработана вся дислокация.

И плацдарм — пансион «Конкордия» — приготовился к бою: голубые стены напрягли мышцы, Лаурис Рист, хотя дымил уже не кепстоном, а какой-то итальянской правительственный табачной дрянью, бодро глядел вперёд, как бодро по ветру, но назло всем сирокко, развевалась его неуёмная борода; в салоне немец-лакей, флегматичный баварец в ярко-зелёных носках, с рыжеватой прямо начёсанной чёлкой, похожей на соломенную заструху, и Мадлене сдвигали столы, расставляли стулья, Пипо Розетти понемногу ослабляя путы и узлы шпагата, и фельдъегерем нёсся Микеле в Сорренто.

К ужину прибыли музыканты. Слепой, в дымчатых очках, изрытый оспой певец запел про Санта Лучию, сослепу поворачивался не туда, куда надо, но изгибался после каждого куплета и млел на кадансах и парил на носках, опрокидывая голову, закатывая тёмные вместо глаз провалы. И скрипки изнывали в истоме, и переливчато замирала мандолина.

Ко второй песне сошла вниз княгиня, сёстры Гресвик как будто забыли о счёте, Лора Гресвик даже сказала под сурдинку «браво», Сильвия Гресвик в подтверждение качнула головкой. Но, не дослушав «*Mare chiaro*», княгиня извонила отбыть в свою комнату, за ней потянулись остальные. Загрохотали стулья, слепой певец скомкал песню и в удручении стал ощупью пробираться в уголок,

фрау Берта не показывалась, только на мгновение рядом с княгиней мелькнул птичий профиль советника-адвоката, флегматичный баварец, дремля под своей чёлкой, тушил лишние лампы, музыканты гусиным выводком тянулись к выходу, как надоедливых, но неотступных сожительниц, прижимали к себе скрипки, виолончели и, оборачиваясь, кланялись и улыбались пустым столикам.

Стоя в дверях, у притолока, Лауридс Рист остервенело выколачивал трубку, Пипо сбоку вцепился в него, виноватым шепотком кинув: — «Ну?» — Лауридс безнадёжно махнул рукой и потребовал сода-виски.

Ночь сравнительно прошла спокойно: ставни скрипели, ржавые петли визжали, но терпимо, в саду уже не так надрывно, как в прошлую ночь, жаловались оливы. А незадолго до рассвета ветер упал, внезапным очистительным грохотом обрушился гром, молния надвое рассекала залив, на мгновение вырезала из темноты лохматую грудь Везувия, в прорезе мелькнул на горизонте и сгинул бесформенный фантастический силуэт океанского парохода, и, бодрой дробью расстреливая остаточные ночные убегающие тени, рассыпался дождь

Лауридс Рист вышел на террасу, — не спалось Лауридсу Ристу, — и хоть ночь, но вскинул глаза к привычному месту, — и на каменных плитах застыли окаменевшие ноги: сквозь ставни окна фрау Берты Таубе пробивался электрический свет, и две параллельные светлые полоски точно взвывали о помощи, как робкие последние огни вдоль бортов тонущего корабля.

Огромным кулаком Лауридс Рист погрозил окну:

— Нет, ты её у меня не увезёшь. Не допущу!

И у себя в комнате, выжимая мокрую бороду, Лауридс Рист гневливо-бодрым фырканьем приветствовал новый день, новую любовь и вечно новую и вечно старую звериную жадность жизни.

Днем Пипо сам отправился в городок, пипин ослик ревел от восторга, — этой поездке предшествовал краткий разговор с датским художником. После ночного дождя сирокко свернул свои крылья, спрятал когти, но было пасмурно, — тускло блестела оголённая, не запятнанная шезлонгами, сырья терраса.

День разворачивался обычно, но завтрак прошёл в безмолвии, и было похоже на то, будто все в заговоре и ждут только назначенной минуты. Лауридс Рист отметил, что у фрау Берты дрожат пальцы и два маленьких красных пятна, словно следы от укусов комара, не сходят с бледно-матовых щёк.

Пипо, вернувшись из городка, послал Микеле за Лауридсом Ристом, княгиня разрешила себе маленькую прогулку в сопровождении господина советника Оскара Таубе и венского по женским болезням доктора Артура Прессслера, — тоненькие ножки господина советника в спортсменских чулках с цветной надшивкой со скромной гордостью соответствовали мелким княжеским шажкам, Артур Прессслер рокочущим баском рассказывал скромные анекдоты из своей практики, Пипо из окна кухни в молчаливом умилении приветствовал мирвещающий выход княгини.

А к пяти часам снова, — сперва тихим ворчанием, как только что проснувшаяся цепная собака, но пока ещё привязанная к своей конуре, напомнил о себе сирокко. Но Пипо бровью не повёл, обменявшись с Лауридсом Ристом много-значительным взглядом: Пипо верил в Лауридса Риста, Лауридс Рист надеялся.

И в неурочный час, изнывая в бешеных руках Микеле высунув обалделый язык, зазвенел колокольчик, — по всем коридорам зашевелились недоумевающие

пансионеры, хлопали двери, гульливый голосок мадам Бадан звал Мадлену, Микеле, мало доверяя звонку, в придачу исходил пронзительным криком «Тарантелла! Тарантелла!», из салона спешно выносили мебель: к княгине торопился Пипо с особым, заранее подсказанным Лауридсом Ристом приглашением на вечер национального искусства в честь многоуважаемой принцессы, которая издалекой, но дружественной нам Румынии соизволила и т. д., Лора Грэсвик щебетала: «Сильвия, ты слышишь: тарантелла? Как это мило», и Сильвия Грэсвик сочувственно кивала головкой, Лауридс Рист удовлетворенно терзал бороду, к воротам подъезжали тележки, директор труппы выгружал малолетних танцоров.

— Боже, да это дети танцуют! — проговорила на пороге салона фрау Берта, проговорила про себя, тихонечко, недоумённо, протяжно, с болью и, вся залившись внезапным густым румянцем, быстро прошла вперёд, — Лауридс Рист едва успел посторониться.

Гудели бубны, детские ручонки щёлкали кастаньетами, тщедушные фигурки, в возрасте от 7 до 15 лет, — девочки с застывшими улыбками, мальчики с заученными жестами, — убого и жалко плели круг южной и пылкой отваги, мёртво пристукивали каблуками; уныло трясли цветными шарфами, а когда единственное живое существо, шестилетний карапуз, прекомичное создание в неаполитанском костюмчике, с глазёнками-изюминками на пухленькой важно-сосредоточенной рожице, сорвал с себя красный хвостатый колпачок и, уморительно преклонив колено и набок пригнув головку, полуобнял свою партнёршу, девочку лет десяти с бледно-зелёным лицом и тёмными подглазниками, — фрау Берта стремительно нагнулась и, схватив карапузика на руки, прижала его к себе крепко. И поцелуями мелкими-мелкими, точно крестиками торопливыми в путь-дорогу, стала покрывать полуиспуганную мордочку.

Во втором ряду, за креслом княгини, раздался негодующий, но ровный окрик советника:

— Берта!

Лауридс подхватил мальчика; подхватывая, спрашивал:

— Вы любите детей?

— Безмерно! — сдавленно вырвалось у фрау Берты, и тотчас фрау Берта пришла в себя, и фрау Берта выпрямилась. Но Лауридс не отпускал мальчика, а мальчик одной рукой держался за рукав фрау Берты и другой цеплялся за Лауридса, и была фрау Берта как бы в пленау, и шептал Лауридс Рист короне из белокурых кос, полуопущенным ресницам, полузакрытым серым глазам:

— А я люблю вас. Я люблю вас.

— Молчите, молчите. Ради бога, молчите.

— Я буду говорить, буду. Я люблю, люблю.

Мальчонка поводил окончательно перепуганной рожицей, фрау Берта торопливо освобождала рукав.

Тарантелла продолжалась, но громко сказала княгиня:

— Я обожаю тарантеллу. Но в исполнении сильных и статных мужчин.

И советник Оскар Таубе немедленно согласился с ней и, предлагая руку, выпятил цыплячью грудь, и американец мистер Ортон промолвил, что участие детей в таких, в сущности, языческих танцах противоречит христианской морали, и добавила мистрис Ортон, что это даже просто неприлично, не говоря уже об этике христианства. И, уединившись с доктором Пресслером, изливал наболев-

шую душу Аугуст Рисслер, на кого возбуждающие действовали танцы, — ах, это не важно, что девочки танцуют, ноги-то мелькают, и если вдуматься хорошенько, то тоненькие ножки девочек ещё больше влияют на...

И сквозь плоские зубы сердито выбрасывали Аугуст Рисслер, doctor phil. и владелец трёх берлинских колбасных:

— Свиньи! Сущие свиньи эти итальянцы. Уверяю вас. Подумайте, такая красота вокруг, только наслаждаться бы, а в самом большом аптекарском магазине вы не можете добиться, чтоб вам дали прочный товар, настоящий, а не чёрт знает какую дрянь.

Танцы были прерваны на середине, со вздохом поднялась маленькая Герта Рисслер: пугливая радость-надежда на лишний час оттянуть уход в комнату от летела, такая маленькая радость — и та померкла.

За дверьми уже сорвавшийся с цепи сирокко наверстывал время: метался между оливами, прыгал по апельсиновым деревьям и колючими лапами сбивал золотые шары.

— Padre! — тихо и ласково, как человек, наконец-то освободившийся от тяжёлого груза, но в то же время счастья не обретший, сказал Лаурис Рист Пипо Розетти, в обездоленном салоне приготовляя себе сногсшибательную смесь из вермута, виски и коньяку. — Padre, крах! Мы прогорели. Нужны другие исключительные меры.

— Е-е, ма! — безнадёжно протянул Пипо, — Широкко! — и покорно, заранее принимая все удары, поднял глаза к небу — к потолку, по которому прыгали и резвились упитанные, коротконогие, толстопузые, как ракхитики, розовые амуры.

Глава третья. S. O. S! (Save our Souls)

Hotel Terminus.

Ричарду Рандольфу.

Pension «Concordia», 28 марта, 192..... г.

Ричард, гениальный человек и гений дружбы, спасай! Спасай твоего бедного Лауриса; твой Лаурис погибает, твой Лаурис погибнет, если ты не выручишь его, твой Лаурис утонет, если ты не поспешишь ему на помощь, если ты ему, утопающему, не кинешь спасательный пояс дружбы, изобретательности и любви. Вода заливает мне уши, я глухну, я уже оглох, ещё немного — и моя борода уляжется меж подводными камнями. Я делаю последние усилия, чтобы удержаться на поверхности, но уже вижу, как крабы впиваются в моё тело, как липкие водоросли сводят мои пальцы, и слышу как в далёком Копенгагене моя бедная старушка оплакивает свою несчастную крошки.

Ты хочешь, чтоб на дне Средиземного моря Дания окончательно и бесповоротно похоронила свою великую надежду в области изобразительного искусства? Ты хочешь, чтоб в этом году в Парижском Салоне отсутствовал портрет некоего негодяя, которого зовут Ричардом и который перестанет быть негодяем и воистину будет Ричардом не только Львиное, но и Золотое Сердце, если поспешит на выручку друга?

Ты хочешь, чтоб газетные мальчишки всего мира в один прекрасный день прокричали на всех перекрестках всех столиц о том, как неподалёку от Неаполя